

значения и грамматические системы языков мира. М., 2011.

Фици 2011 – Ф. Фици. Об одной модальной функции рефлексивных конструкций // И.М. Богуславский, Л.Л. Крысин, Л.Л. Иомдин (ред.). Слово и язык. Сб. статей к 80-летию акад. Ю.Д. Апресяна. М., 2011.

Durst-Andersen 2011 – P. Durst-Andersen. Linguistic supertypes: A cognitive-semiotic theory of human communication. Berlin; New York, 2011.

Krifka 1998 – M. Krifka. The origins of telicity // S. Rothstein (ed.). Events and grammar. Dordrecht, 1998.

Н.М. Стойнова

Сведения об авторе:

Наталья Марковна Стойнова
МГУ им. М.В. Ломоносова
ИРЯ им. В.В. Виноградова РАН
ashl@yandex.ru

L. Johanson, M. Robbeets (eds). Copies versus cognates in bound morphology. Leiden: Brill, 2012. xv + 455 p. (Brill's studies in language, cognition and culture. V. 2.)

В последние годы заметно возрос интерес исследователей к проблеме языковых изменений, связанных с контактом. Так, только в 2012 году вышло три сборника статей по данной теме – помимо рецензируемой книги, это [Stolz et al. (eds) 2012] и [Wiemer et al. (eds) 2012], также посвященные контактному влиянию на морфологическую систему¹. Сборник «Копии и когнаты в морфологии» подготовлен по результатам трехдневного рабочего совещания в Вильнюсе в сентябре 2010 года, проходившего в рамках 43-й конференции Европейского лингвистического общества. Его редакторами стали Ларс Юхансон, известный тюрколог и автор оригинального подхода к описанию контактных явлений, и компаративист Мартина Роббетс, занимающаяся прежде всего вопросами родства японского и прочих алтайских (в ее терминологии – «трансевразийских») языков. Участие в сборнике специалистов по языковым контактам, с одной стороны, и по сравнительно-исторической реконструкции, с другой, позволяет выработать общие подходы к решению основных проблем контактного влияния в морфологии: как, при наличии в языках общих морфологических показателей, отличить их заимствованный характер от исконного, а также как определить те факторы, которые способствуют или, напротив, препятствуют заимствованиям в морфологии².

¹ Рецензия М.А. Живлова на сборник статей 2011 года по сходной проблематике («Языковые контакты в период глобализации») публиковалась в ВЯ № 2 за 2012 год (с. 125–128).

² Большинство авторов сборника использует при анализе контактных явлений терминологию Л. Юхансона, в модели которого речь идет не о «заимствовании» (borrowing), а о «копировании» (copying) из языка-источника. Речь при этом может идти как о полном (global) копировании, при котором происходит перенос и материальной формы языковой единицы, так

Помимо весьма содержательной вступительной статьи редакторов книги («Bound morphology in common: copy or cognate?»), в сборник вошло 20 статей, разделенных на две части: в первой рассматриваются общие вопросы, во второй проводится анализ конкретных случаев на материале широкого круга языков Евразии и Америки.

В статье Дж. Николс («Selection for *m:T* pronominals in Eurasia») представлены результаты исследования начальной согласной в личных местоимениях языков Евразии – индоевропейских, тюркских, монгольских, тунгусо-маньчжурских, уральских и картвельских. Для данных языков характерно противопоставление согласного /m/ в личных местоимениях и местоименных аффиксах 1-го лица ед. ч. и согласных типа *T* (/t/, /d/, /č/, /s/) во 2-м лице ед. ч., ср. курдское *man ~ to* или грузинское *me ~ šen*. Встречаемость этого противопоставления в евразийском ареале гораздо выше, чем в остальных частях света, поэтому его нельзя трактовать как случайность; о наследовании из общего праязыка говорить также не приходится, поскольку в ряде случаев появление соответствующего согласного является вторичным. Автор расценивает наличие противопоставления *m:T* в личных местоимениях 1–2 лица как «состояние притяжения» (attractor state), которое легко приобретает, однако с трудом утрачивается. На широкое распространение противопоставления повлияла как его фонетическая природа (в обоих случаях звуки относятся к базовым и при этом имеют ярко выраженные различия), так и особенности миграций в северной Евразии в постнеолитическую эпоху.

и о выборочном (selective) копировании, при котором новой единицы в языке не возникает, однако существующая под воздействием языка-источника меняет какие-то свои свойства (значение, сочетаемость, частотность и пр.); см., в частности, [Johanson 2002].

Некоторые из статей теоретической части посвящены тому, как заимствование можно ошибочно принять за развитие из общего праязыка, и наоборот. **Ю. Янхунен** («Non-borrowed non-cognate parallels in bound morphology: Aspects of the phenomenon of shared drift with Eurasian examples») рассматривает явление «параллельного дрейфа» (shared drift), под которым подразумевается конвергентное развитие материально и функционально похожих показателей, не связанное ни с прямым заимствованием из одного языка в другой, ни с наследованием из общего праязыка. Речь идет о морфемах, происходящих из разных источников, однако сближающихся в результате контактов. К подобным случаям в «алтайских» языках, родство которых автор не признает, он относит, например, суффикс множественного числа / собирательности *-s (в тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских языках), дативный / локативный показатель на *-d/*-t (в монгольских и тунгусо-маньчжурских), условный суффикс -sal-se и показатель множественного числа -la/-le в тюркских и монгольских языках тибетского региона Амдо и др. Поскольку общности в морфологии часто считаются надежным признаком языкового родства, автор призывает обращать внимание на то, что речь может идти лишь о параллельном дрейфе, который отражает языковые контакты, а не родство (хотя при этом не отражает непосредственное заимствование морфемы).

В свою очередь, **Б. Джозеф** («A variationist solution to apparent copying across related languages») обращает внимание на то, что вариативность в морфологии, в высшей степени свойственная живым языкам, должна учитываться и при реконструкции праязыковых состояний, что позволит сделать такую реконструкцию более реалистичной. Случаи, когда в родственных, однако давно разошедшихся языках (или группах) вдруг возникают сходные явления, легко принять за случайное совпадение: после разделения языков прошло уже слишком много времени, чтобы считать эту общность унаследованной, аргументов в пользу заимствования также нет. Между тем не исключена ситуация, что общность является все же следствием праязыкового наследия и связана с имевшейся в праязыке вариативностью: при конкуренции нескольких вариантов один из них мог быть вытеснен на периферию (и в том числе мог не отразиться в сохранившихся памятниках). Со временем, однако, ушедший было «на дно» второстепенный показатель вновь «всплывает» в обоих языках, что производит впечатление независимого возникновения.

Э. Грант («Bound morphology in English (and beyond): copy or cognate?») приводит

результаты подсчетов, призванных выявить, насколько массовое копирование лексики коррелирует с копированием морфологических показателей. Материалом для анализа послужили данные 14 языков, у каждого из которых имеются заимствования в 207-словном списке базисной лексики (от 10 до 34 % слов): это английский, кэлдэрарский цыганский, хинди / урду, стандартный суахили, тагальский, ачехский, чаморро, нганди, пипиль и др. Как оказывается, почти во всех из этих языков имеются примеры заимствованных служебных слов, во многих также словообразовательных морфем, однако лишь в меньшинстве отмечаются копии словоизменительной морфологии. Корреляция с числом лексических копий при этом оказывается достаточно слабой: в языках с большим числом заимствований в лексике может быть как большое, так и незначительное число морфологических копий (от 17 показателей в чаморро до нуля в яском языке).

К известной иерархии, утверждающей, что знаменательные слова в целом копируются легче, чем служебные, а деривационная морфология – легче, чем словоизменительная, не раз обращаются и другие авторы сборника. Так, в караимский язык, согласно статье **Э. Чато** («On the sustainability of inflectional morphology»), из славянских и литовского проникло множество лексических заимствований, а также некоторые словообразовательные суффиксы. В синтаксисе же, равно как и в словоизменительной морфологии, отмечается только частичное копирование: ср., например, начальное положение вопросительных слов, постпозитивный генитив, постпозитивные относительные и обстоятельственные финитные клаузы, приобретение комитативом инструментальной и предикативной функции, появление у бытийного глагола значения ‘мочь’ в сочетании с постпозитивным инфинитивом.

С. Элиассон («On the degree of copiability of derivational and inflectional morphology: Evidence from Basque») предлагает подробный обзор заимствованной морфологии в баскском языке – генеалогическом изоляте и типологически наиболее необычном языке западноевропейского ареала. На протяжении более чем двух тысяч лет баскский испытывал значительное влияние латыни и западнороманских языков, что привело к появлению огромного пласта заимствованной лексики. Много заимствований имеется и в словообразовании, однако это почти исключительно именные суффиксы (от трети до половины всех словообразовательных суффиксов, которых насчитывается порядка полусотни); заимствованных префиксов нет, хотя в языках-источниках они имеются и теоретически могли подвергнуться копированию.

В словоизменении заимствований мало: так, в системе имени по диалектам отмечается лишь использование испанских показателей рода *-o/-a* у некоторых прилагательных и существительных; в глагольной системе был заимствован суффикс перфективного причастия на *-tu/-du* (из латинского *-tu(m)*). При том, что в целом данные полностью соответствуют известной шкале заимствования «лексика > словообразование > словоизменение», автор отмечает и некоторые более частные закономерности (именные показатели копируются лучше, чем глагольные, а нефинитные – лучше, чем финитные), а также выделяет ряд параметров, способствующих или препятствующих заимствованию.

Критерии того, какие словоизменительные морфемы чаще всего заимствуются, рассматривает и **Ф. Гардани** («Plural across inflection and derivation, fusion and agglutination»). Выявляя отмечавшиеся в литературе бесспорные примеры заимствованной морфологии в различных языках, он обнаруживает 37 случаев, из которых 12 приходится на показатель множественного числа. По мнению автора, закреплению морфемы в языке-реципиенте способствуют следующие обстоятельства: во-первых, множественное число является типичным примером содержательной, а не контекстно обусловленной (согласовательной) категории, тем самым на шкале от словообразования к словоизменению располагается ближе к словообразованию; во-вторых, заимствованию наиболее подвержены агглютинативные показатели, которые имеют прозрачные границы и соответствуют принципу «одна форма – одно значение».

А. Бакус и **А. Вершик** («Copiability of (bound) morphology») пытаются подойти к ответу на вопрос о том, почему морфология мало подвергается заимствованию, исходя из семантики и прагматики морфологических показателей. По их мнению, полному копированию будут подвергаться прежде всего единицы, обладающие наибольшей семантической специфичностью (semantic specificity), в том числе и те лексемы, для которых в языке-реципиенте отсутствует точный аналог. Напротив, единицы с наиболее обобщенным значением – как базовый лексикон, так и грамматические показатели, – менее «притягательны» и скорее не копируются из источника полностью, а воздействуют на значение своего ближайшего аналога (например, приводят к появлению у грамматического показателя новых значений). Что касается чисто структурных характеристик типа порядка слов, то для их копирования ключевую роль играет не семантическая обобщенность, а частотность: частотная структура из языка-источника легко укореняется в созна-

нии носителя языка-реципиента и постепенно переносится в этот язык.

В статье **А. Айхенвальд** («‘Invisible’ loans: How to borrow a bound form») подчеркивается, что при длительном и интенсивном контакте возникновение общих черт у языков неизбежно, даже если говорящие сознательно сопротивляются этому. В качестве примера она приводит ареал реки Ваупес на границе Колумбии и Бразилии, в котором носители контактирующих языков резко отрицательно расценивают проникновение в свою речь заимствований и отвергают их. Это приводит к парадоксальной ситуации, когда лексических заимствований в языке, действительно, удастся избежать, однако какие-то грамматические явления, тем не менее, «просачиваются». Так, в аравакский язык тариана из восточнотуканского языка тукао проникли три клитики (одна модальная и две образа действия), а некоторые показатели претерпели «грамматическую аккомодацию» и изменили значение под влиянием близкого по форме аффикса в тукао. Такие заимствованные элементы можно считать «невидимыми» в том смысле, что они всегда выступают в составе словоформы, так что увидеть их в изолированном виде и оценить их заимствованный статус носители не могут.

Численные данные по употребительности заимствований в текстах приводятся в статье **Д. Бэккера** и **Э. Хеккинга** («Constraints on morphological borrowing: Evidence from Latin America»), которые обращаются к корпусам устной спонтанной речи трех генетически и ареально далеких языков Центральной и Южной Америки, испытавших значительное испанское влияние. В целом языковых единиц испанского происхождения в текстах оказывается достаточно много: в кечуа они приходятся почти на каждое пятое слово, в гуарани на каждое шестое, в отоми на каждое седьмое. Лексических заимствований среди них больше всего – от половины всех заимствованных элементов в отоми до более 80 % в кечуа. Остальное приходится на заимствованные служебные слова, к которым относятся предлоги, сочинительные и подчинительные союзы, иногда артикли. Примеров использования испанской аффиксальной морфологии с исконными корнями нет, хотя авторы предполагают, что испанская морфология вполне может проникнуть в индейские языки под видом «троянского коня», т. е. через испанские словоформы. По корпусным данным можно предположить, что по крайней мере в кечуа испанские формы множественного числа с суффиксом *-(e)s* и агентивные существительные на *-ero* конструируются на основе усвоенных правил, а не заимствуются как готовые комплексы. Тем самым ничто не мешает через

какое-то время начать использовать эти морфемы не только для испанских, но и для исконных основ. Испанским заимствованиям в америндских языках посвящена также статья **С. Гутьеррес-Моралес** («Morphological borrowing in Sierra Popoluc»), которая показывает, что суффикс агентивных имен *-eeroj/-teeroj* в сьерра-пополука, явно восходящий к испанскому *-ero*, не может быть непосредственным заимствованием из этого языка. Учитывая как грамматические особенности, так и исторические данные о контактах, можно предполагать, что суффикс был заимствован через посредство одного из диалектов языка нахуатль, который также оказывал влияние на сьерра-пополука.

Еще одну гипотезу о «цепочечном» заимствовании грамматического показателя исследует **Ю. Йозефсон** («The historical background of the transfer of a Kurdish bound morpheme to Neo-Aramaic»). Она показывает, что курдский префикс *bi-/be-* является либо непосредственной копией персидской морфемы конъюнктива и повелительного наклонения, либо изменил свое значение под персидским влиянием; из курдского же префикс попал в северо-восточную разновидность новоарамейского языка.

В. Фридман («Copying and cognates in the Balkan Sprachbund») иллюстрирует сложность отделения праязыкового наследия от заимствования примерами из языков балканского ареала. Так, некоторые окончания презенса в мегленорумынском выглядят как македонские заимствования, однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что в деревнях, наиболее близких к македонским, данное сходство отсутствует; кроме того, в самом мегленорумынском похожие окончания встречаются в парадигме других времен, так что речь, скорее всего, должна идти о независимом внутреннем развитии без какого-либо контактного влияния. Еще один интересный пример касается вокативной частицы *o* и суффикса *-o*, давно заимствованных в албанский язык из славянских. В современном македонском языке эти показатели уже почти утратились, однако в последнее время происходит повторное распространение вокативной частицы как раз под влиянием албанского, которое особенно сильно в говоре Скопье. Тем самым утраченная в македонском частица возвращается в язык в виде заимствования, хотя в самом албанском она исторически является копией из славянских языков.

Случай исконного явления, развитие которого было поддержано контактом, рассматривает **Н. ван дер Пол** («Between copy and cognate: the origin of absolutes in Old and Middle English»). На материале древнеанглийского корпуса текстов она исследует нефинитную адвербиальную конструкцию, в которой существительное

и вершинный предикат (причастие) имеют форму косвенного падежа – чаще всего датива или инструменталиса (ср. *ofslegenum Pendan hyra cyninge* [убитый.DAT Пендан.DAT их король.DAT] ‘когда был убит их король Пендан’). В литературе представлены две точки зрения на «абсолютную» конструкцию – она была калькирована из латыни либо унаследована из прагерманского состояния. Автору удается объединить оба подхода, показав, что конструкция являлась исконной, однако, как и в других германских языках, в определенный период начала исчезать из языка; при этом с началом активной переводческой деятельности с латыни частотность конструкции резко возросла (хотя впоследствии опять пошла на убыль).

П. Бэккер («Cognates versus copies in North America: New light on the old discussion on diffusion versus inheritance») обращается к проблеме объяснения структурных сходств в полисинтетических языках Северной Америки – алгонкинских и салишских. Попытки объединения этих семей вместе с несколькими другими семьями и изолятами в «алмосанскую» надсемью не признаются специалистами, и в целом на основе выявления регулярных фонетических соответствий в лексике родственные отношения между ними, скорее всего, не могут быть установлены ввиду крайне малого числа потенциальных когнатов. Тем не менее, языки обеих семей имеют сходную структуру глагольной словоформы, общий тип типологически редкой («иерархической»)³ стратегии кодирования актантов, особый класс «лексических суффиксов». Поскольку речь идет о диахронически стабильных языковых явлениях, автор приходит к выводу о том, что наблюдаемые сходства все-таки являются унаследованными из общего праязыка.

Ф. Йозефсон («Transfer of morphemes and grammatical structure in Ancient Anatolia») описывает контактные влияния в древних языках Анатолии. Так, под влиянием лувийского языка в родственном ему хеттском произошло сокращение числа падежей и числа локативных и направительных клитик. Ряд других изменений в хеттском морфосинтаксисе (появление «расщепленной эргативности», перестройка системы вакернагелевских клитик), скорее всего, вызваны внутренними причинами, а не контактом. Неиндоевропейские же языки – хаттский

³ Речь идет о кодировании основных актантов при помощи личных показателей. В «иерархическом» типе кодирование агенса и пациенса зависит от иерархии лиц; он противопоставлен аккузативному, эргативному, активному, трехчастному и нейтральному типам, при этом встречается в языках мира реже прочих.

и хурритский – не оказали существенного влияния на структуру анатолийских языков, несмотря на существование билингвизма.

Весьма специфическую социолингвистическую ситуацию рассматривает **Т. Хаяси** («Foreign and indigenous properties in the vocabulary of Eynu, a secret language spoken in the south of Taklamakan») на примере особой разновидности уйгурского языка, известной как «эйну» и используемой группой уйгуров Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. В эйну, который функционирует как тайный язык, корни слов имеют в основном персидское происхождение, тогда как морфология остается уйгурской. По всей видимости, этот язык был создан сознательно, а не является результатом перехода персоязычной группы носителей на уйгурский. В пользу такой интерпретации говорят, в частности, явные структурные параллели эйну с уйгурским в идиомах, сходная омонимия некоторых лексем (например, ‘огонь’ / ‘трава’ и др.). При создании эйну имело место, тем самым, лишь копирование внешних оболочек персидских слов (корней) как вариантов, используемых в особых ситуациях.

В нескольких статьях сборника разбираются спорные вопросы классификации алтайских языков. Так, **Л. Уэйли** («Deriving insights about Tungusic classification from derivational morphology») отмечает, что установление регулярных фонетических соответствий и построение генеалогического древа тунгусо-маньчжурских языков затруднено из-за большого числа внутрисемейных контактов. В качестве альтернативы она предлагает классификацию, основанную на сравнении словообразовательных показателей (в частности, суффиксов способа действия), которых в этих языках особенно много. Предварительный анализ показывает, что распределение показателей отчасти коррелирует со стандартной классификацией – например, маньчжурский язык максимально отличается от всех остальных, – однако из-за неполноты данных по языкам и диалектам более детальную картину еще предстоит установить. Статья **Дж.М. Унгера** («The likelihood of morphological borrowing: The case of Korean and Japanese») посвящена критике книги А. Вовина, в которой морфологические этимологии в поддержку гипотезы корейско-японского родства подвергаются сомнению и объясняются заимствованиями из корейского в японский.

Наконец, заключительная статья **М. Роббетс** («Shared verb morphology in the Transeurasian languages: copy or cognate?») во многом суммирует данные других работ и предлагает список критериев того, следует ли относить общие в двух языках морфологические показа-

тели к унаследованным из праязыка или к заимствованию. В пользу заимствования говорят следующие свойства: 1) морфема сочетается только с корнями, общими для обоих языков, но не с различающимися; 2) последовательность морфем в одном из языков является нечленимой, хотя она членима в другом; 3) в одном из языков отмечается только второстепенное значение морфемы, тогда как в другом и первичное, и второстепенное; 4) означающее морфемы не соответствует установленным ранее звуковым соответствиям; 5) морфема встречается только в зоне тесного языкового контакта, но не на периферии контактного ареала; 6) общая морфология отмечается только в определенной подсистеме (например, только в именном склонении, только в словообразовании или только в нефинитных формах). Напротив, следующие признаки увеличивают вероятность генетического родства, а не заимствования: 7) формы морфем сходны, причем путь их грамматикализации достаточно редок (что снижает вероятность независимого развития); 8) значение морфем непрозрачно и полностью определяется только внутри комплекса с другими морфемами; 9) морфемы кумулятивно выражают несколько значений (тогда как при заимствовании значение нередко упрощается); 10) морфемы имеют сходное число алломорфов (тогда как при заимствовании алломорфия имеет тенденцию редуцироваться); 11) морфема отмечается более чем в двух языках, связанных по цепочке (для заимствований «цепочечное» копирование из одного языка во второй, а из второго в третий в целом нехарактерно); 12) морфема не отмечается в одном из промежуточных языков цепочки (при заимствовании ожидается, что язык-посредник не утратит морфему сразу после передачи ее другому языку). Далее автор рассматривает по данным критериям похожие морфемы в пяти ветвях алтайской («трансевразийской») макросемьи – среди них показатель аспекта, залога, отрицания, согласования, вопросительности, различных финитных и нефинитных форм глагола. Вывод, к которому приходит Роббетс, однозначен: во всех случаях гораздо вероятнее развитие из общего праязыка, нежели копирование.

Статьи сборника достаточно неоднородны как тематически, так и по широте охвата материала и методике его анализа: одни авторы в большей степени обращают внимание на социолингвистическую составляющую контактных изменений, другие – на пути диахронического развития языковых явлений, в каких-то работах привлекаются корпусные данные и используется математический аппарат (пусть даже на уровне простейших подсчетов). Оценивая сборник в целом, стоит отметить, что

союз сравнительно-исторического подхода и контактологии оказался плодотворным – авторам удалось получить интересные обобщения относительно возможных типов заимствований в морфологии, а также выявить ряд эвристик, позволяющих приблизиться к ответу на вопрос, имеем мы в конкретном случае дело с копией или когнатом. Вместе с тем, понятно и то, что полностью убедительного решения этой проблемы вполне может и не быть, на что указывает гипотетический характер некоторых выводов или даже их противоположность (ср. подходы Янхунена и Роббетса к «алтайской проблеме»). Как бы то ни было, данная публикация, как и другие недавние работы сходной направленности, способствует более адекватному пониманию возможных результатов взаимодействия языков и является шагом к созданию теории контактных изменений, которая, как хочется надеяться, появится в будущем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Johanson 2002 – *L. Johanson*. Contact-induced linguistic change in a code-copying framework // М.С. Jones, E. Esch (eds). *Language change: The interplay of internal, external and extra-linguistic factors*. Berlin, 2002.
- Stolz et al. (eds) 2012 – *T. Stolz, M. Vanhove, H. Otsuka, A. Urdze* (eds). *Morphologies in contact*. Berlin, 2012.
- Wiemer et al. (eds) 2012 – *B. Wiemer, B. Hansen, B. Wälchli* (eds). *Grammatical replication and borrowability in language contact*. Berlin, 2012.

Сведения об авторе:

Тимур Анатольевич Майсак
Институт языкознания РАН
timur.maisak@gmail.com